

С.А. Фомичев

Чацкий

Не давая подробно жизнеописания ни одного из своих героев (что противоречило бы самой природе драматического произведения), Грибоедов, тем не менее, «для себя» имел, несомненно, представление об основных этапах их жизненных судеб, намеченных в комедии отдельными штрихами.

Москвич по происхождению, Чацкий еще в детстве остался без родителей и воспитывался в доме Фамусова. Достигнув совершеннолетия, он, как замечает Софья, «съехал» и редко посещал дом Фамусовых, потом отправился путешествовать. В ранней редакции комедии он вспоминает горный обвал, вероятно, на Кавказе, но и эта живая деталь в окончательном тексте устранена. Даже Фамусову неведомо про него, «где был, скитался столько лет». По репликам действующих лиц известно, что «лечился, говорят, на кислых он водах», да еще — «Татьяна Юрьевна рассказывала что-то, / Из Петербурга возвратясь, / С министрами про вашу связь, / Потом разрыв...» Вот и все, пожалуй, что мы знаем о трех годах Чацкого, проведенных вне Москвы. Доподлинно неизвестно даже, служил ли он на гражданской или военной службе. «Связь с министрами» у него могла возникнуть лишь потому, что он «славно пишет, переводит», а к военному мундиру он испытывал «нежность», вероятно, лишь в детстве, на исходе Отечественной войны. Идеалы юности, рожденные общественным подъемом первых послевоенных лет, пробудили в Чацком страстное желание честно служить отечеству. С тех пор он испытал немало разочарований («Мундир <...> — теперь уж в это мне ребячество не впасть»; «Служить бы рад — прислуживаться тошно»; «Где ж лучше? — Где нас нет» и пр.). И это не вина героя, а его горе, причиной которого являются «превращения», противоположные его юношеским стремлениям, обозначившие эпоху реакции: бездушного солдафонства и откровенного подличанья перед «власть имущими». Чацкий бросился в Москву после какого-то особенно горького потрясения — в отчаянной попытке обрести ускользающую веру. В памяти сердца — «Там стены, воздух, все приятно! Согреть, оживят...» Воспоминания эти освящены первой любовью, и она, пожалуй, теперь почти единственное, в чем он твердо уверен. «Всякий шаг Чацкого, почти всякое слово в пьесе, — замечал Гончаров, — тесно связано с игрой чувства его к Софье».

Упоминание Чацкого о встрече с Платоном Михайловичем в конце прошлого года неоднократно останавливало внимание комментаторов комедии, которые или объявляли это место очевидным просчетом драматурга, или же пытались объяснить, каким образом могли они встречаться за границей. По мнению М. Нечкиной, «слова Чацкого Платону Михайловичу: «Не в прошлом ли году, в конце, / В полку тебя я знал» — ни в малейшей степени не противоречат заграничному пребыванию Чацкого, ибо вся русская армия в это время была за границей и было бы, наоборот, удивительно, если бы военный человек мог увидеть друга год тому назад не там, где находилась вся армия, а в глубоком российском тылу». В рассуждении этом не принимается в расчет, что действие комедии происходит в 1820-х годах (ср., например, упоминание о петербургских профессорах, упражняющихся в «расколах и безверье», — явный намек на события 1821 года), между тем как русский корпус вернулся из Франции в 1818 году после Ахенского конгресса. На «ошибку» Грибоедова в этой строчке указал уже один из первых критиков комедии, М. Дмитриев в 1825 году, однако драматург не изменил упоминания о встрече именно «в прошлом году», не видя, очевидно, здесь никакого внутреннего противоречия. В Москву Чацкий приехал вовсе не из-за границы, а из Петербурга («верст больше седьмисот промчался...»). В Петербурге он пробыл, по всей вероятности, довольно долго — вероятно, именно там он познакомился не только с министрами, но и с либералами, около которых привык отирать-

ся Репетиллов. При встрече с Платоном Михайловичем Чацкий вспоминает прошлогодние осенние впечатления (ср.: «осенний ветер дуй хоть спереди, хоть с тыла»). Ничто не мешает предположению о том, что встреча эта происходила в одном из военных лагерей под Петербургом. И вовсе не обязательно, конечно, считать, что Чацкий в это время состоял на военной службе: он мог посетить в лагере своих армейских товарищей. Ср., например, шуточный отчет перед Бегичевым, содержащийся в письме Грибоедова из Петербурга от 4.9.1817 года (в это время драматург уже поступил на службу в Коллегию иностранных дел):

«Вот перечень всего того, что со мной происходило со дня, как мы распростились в Ижорах. Прежде всего прошу Поливанову сказать свинью. Он до того меня исковеркал, что я на другой день не мог владеть руками, а спины вовсе не чувствовал. Вот каково водиться с буйными юношами. Как не вспомнить псалмопевца: “Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых”».

Хотя Чацкий и называет Платона Михайловича «другом старым» («Ба! друг старый, мы давно знакомы, вот судьба!»), это, по всей вероятности, лишь обычная приятельская формула; на самом деле Чацкий даже не помнит, в каком чине «в прошлом году, в конце» был Платон Михайлович: в обер-офицерском (то есть в младшем офицерском, до капитана включительно) или же штаб-офицерском (от майора и выше), — и опасается, не оскорбил ли он случайно воинского достоинства приятеля, «пообещав» ему только эскадрон (кавалерийское подразделение, примерно соответствовавшее роте в пехотных полках). Не может служить подтверждением давнего знакомства героя с Горича и то, что Чацкий знает о пятилетнем пристрастии Платона к «а-мольному дуэту»: вероятно, над этой слабостью подтрунивали постоянно сослуживцы Горича.

Белинский, признавая за Грибоедовым «талант яркий, живой, свежий, сильный, могучий», восторгаясь богатствами языка и стиха, «гениальной живописью» поэта, художественной «самобытностью» характеров, резко судит о Чацком:

«Это просто крикун, фразер, идеальный шут, на каждом шагу профанирующий все святое, о котором говорит. Неужели войти в общество и начать всех ругать в глаза дураками и скотами значит быть глубоким человеком? <...> Это новый Дон-Кихот, мальчик на палочке верхом, который воображает, что сидит на лошади... Глубоко верно оценил эту комедию кто-то, сказавший, что это горе, — только не от ума, а от умничанья. Искусство может избрать своим предметом и такого человека, как Чацкий, но тогда изображение должно было быть объективным, а Чацкий лицом комическим; но мы ясно видим, что поэт не шутя хотел изобразить в Чацком идеал глубокого человека в противоречии комедии».

Давно отмечено, что в этот период критик в своих философских и литературных исканиях пришел к гегельянской доктрине «примирения с действительностью» и впоследствии винил себя за несправедливую оценку комедии Грибоедова, что не принималось во внимание многими другими критиками, опиравшимися в своих суждениях о «Горе от ума» на высокий авторитет «неистового Виссариона».

Гоголь связывает с характеристикой Чацкого:

«Такое скопище уродов общества, из которых каждый окарикатурил какое-нибудь мнение, правило, мысль, извративши по-своему законный смысл их, должно было вызвать в отпор ему другую крайность, которая обнаружилась ярко в Чацком. В досаде и в справедливом негодовании противу их всех Чацкий переходит также в излишество, не замечая, что через это самое и через этот невоздержанный язык свой он делается сам нестерпим и даже смешон. Все лица комедии Грибоедова суть такие же дети полупросвещения, как фонвизиновы — дети непросвещения, русские уроды, временные, преходящие лица, образовавшиеся среди брожения новой закваски. Прямо-русского типа нет ни в ком из них; не слышно русского гражданина. Зритель остается в недоумении на счет того, чем должен быть русский человек. Даже то лицо, которое взято, по видимому, в образец, то есть сам Чацкий, показывает только стремление чем-то сделаться,

выражает только негодование противу того, что презренно и мерзко в обществе, но не дает в себе образца обществу».

А. Григорьев называл Чацкого единственным героическим лицом нашей литературы. Прямо сближали Чацкого с декабристами также Герцен и Огарев. Герцен писал:

«...Он чувствует, чем недоволен, он головой бьет в каменную стену общественных пред-
рассудков и пробует, крепки ли казенные решетки. <...>. У него была та беспокойная неутомон-
ность, которая не может выносить диссонанса с окружающим и должна или сломить его, или
сломиться. Это — то брожение, в силу которого невозможна плесень на текущей, но замедленной
волне ее». Если бы он «пережил первое поколение, шедшее за 14 декабря в страхе и трепете,
сплюснутое террором, выросшее пониженное, задавленное, — через них протянул бы горячую
руку нам. С нами Чацкий возвращался на свою почву».

Отвечая на обвинения критиков относительно бесплодности красноречия Чацкого,
Огарев писал:

«...вспоминая, как в то время члены тайного общества и люди одинакового с ними убежде-
ния говорили свои мысли вслух везде и при всех, дело становится более чем возможным — оно
исторически верно. Энтузиазм во все эпохи и у всех народов не любил утаивать своих убеждений,
и едва ли нам можно возразить, что Чацкий не принадлежит к тайному обществу и не стоит
в рядах энтузиастов...»

По Гончарову, Чацкий — воин,

«и притом победитель, но передовой воин, застрельщик и — всегда жертва».

«Чацкого роль — роль страдательная: оно иначе и быть не может. Такова роль всех Чацких,
хотя она в то же время и всегда победительная. Но они не знают о своей победе, они сеют только,
а пожинают другие — и в этом их главное страдание, то есть в безнадежности успеха».

«Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим <...>. Много можно бы привести
Чацких — явившихся на очередной смене эпох и поколений — в борьбах за идею, за дело, за прав-
ду, за новый порядок, на всех ступенях, во всех слоях русской жизни и труда — громких, великих
дел и скромных кабинетных подвигов».

«Пусть он глуп, зато у него сердце доброе», — вот та оценка, которая обусловила
собой двойственное отношение Достоевского к Чацкому. Как мы увидим ниже, в своем
художественном творчестве Достоевский проявляет совершенно иное отношение к Чацко-
му <...>, почти любовное, хотя прямо об этом нигде и не говорит. Только при таком от-
ношении можно понять, почему Чацкий сыграл такую большую роль в творчестве Досто-
евского. В своих же критических отзывах Достоевский необычайно суров к Чацкому. Это
кажущееся противоречие можно устранить, приняв во внимание, что Достоевский в своих
оценках исходит из разных критериев. В своих критических отзывах он рассматривает
Чацкого как общественный тип («московский барин и помещик») и определенное исто-
рическое явление («декабрист»), в художественном же истолковании он исходит от Чац-
кого-человека, трагедию которого он усматривает в его идеализме:

«Это фразер, говорун, но сердечный фразер, и совестливо тоскующий о своей бесполезно-
сти. Он теперь в новом поколении переродился, и мы верим в юные силы, мы верим, что он явится
скоро опять, но уже не в истерике, как на бале Фамусова, а победителем, гордым, могучим, крот-
ким и любящим. Он сознает, кроме того, к тому времени, что уголок для оскорбленного чувства
не в Европе, а, может быть, под носом, и найдет, что делать, и станет делать. И знаете ли что: я вот
уверен, что не все и теперь у нас одни только фельдфебеля цивилизации и европейские самодуры;
я уверен, я стою за то, что юный человек уже народился... но об этом после. А мне хочется еще
сказать два слова о Чацком. Не понимаю я только одного: ведь Чацкий был человек очень умный.
Как это умный человек не нашел себе дела? Они все ведь не нашли дела, не находили два-три
поколения сряду. Это факт, против факта и говорить бы, кажется, нечего, но спросить из любо-
пытства можно. Так вот, не понимаю я, чтоб умный человек, когда бы то ни было, при каких бы то
ни было обстоятельствах, не мог найти себе дела. Этот пункт, говорят, спорный, но в глубине

моего сердца я ему вовсе не верю. На то и ум, чтоб достичь того, чего хочешь. Нельзя версты пройти, так пройди сто шагов, все ж лучше, все ближе к цели, если к цели идешь. И если хочешь непременно одним шагом до цели дойти, так ведь это, по-моему, вовсе не ум. Это даже называется белоручничеством. Трудов мы не любим, по одному шагу шагать не привычны, а лучше одним шагом перелететь до цели или попасть в Регулы. Ну вот это и есть белоручничанье. Однако же Чацкий очень хорошо сделал, что улизнул тогда опять за границу: промешкал бы маленько и отправился бы на восток, а не на запад. Любят у нас запад, любят, и в крайнем случае, как дойдет до точки, все туда едут. Ну вот и я еду. “Mais moi c'est autre chose” <Я — это другое дело>. Я видел их там всех, т. е. очень многих, а всех не пересчитаешь, и все-то они, кажется, ищут уголка для оскорбленного чувства. По крайней мере, чего-то ищут. Поколение Чацких обоюбого пола после бала Фамусова, и вообще, когда был кончен бал, размножилось там подобно песку морскому, и даже не одних Чацких: ведь из Москвы туда они все поехали».

Любопытно разноречие в оценке Чацкого в среде эмигрантов, бежавших на Запад от большевистского террора. Сергей Яблоновский (С. Потресов) писал в 1929 году:

«И вот здесь выяснилось, что живет весь юмор Грибоедова, живут Фамусов, Скалозуб, Молчалин, графиня бабушка, графиня внучка, князья и княжны; в высокой степени живет Репетилов и Загорецкий, и господин Н., и господин Д. — все, все, все!..., кроме Чацкого. Его цивический пафос почти не увлекал — честнее сказать, вовсе не увлекал молодую аудиторию. Она видела в нем, главным образом, революционера; он — предшественник декабристов, декабристы — предшественники... Расположенная к преподавателю юная аудитория верила, что между Чацким и “теми, кто погубил Россию”, нет ничего общего, но она не загоралась; ей чужд был пафос протеста, ломки, обновления; на смену пришел пафос воссоздания, возвращения вспять».

А. Осоргина отмечала:

«Герой “Горя от ума” Чацкий принадлежит именно к этой, лучшей части молодого поколения. Многие литературные критики утверждали, что Чацкий — резонер. Это совершенно неверно! Резонером можно назвать его только постольку, поскольку автор его устами выражает свои мысли и переживания; но Чацкий — лицо живое, реальное; у него, как и у всякого человека, есть свои качества и недостатки <...>. Устами Чацкого Грибоедов высказывает мысли и чувства лучшей части дворянства, возмущавшегося несправедливостями, которые влекло за собой крепостное право, боровшегося с произволом заядлых крепостников <...>. В мире Фамусовых Чацкий одинок: все общественное мнение против него. Все кругом него считают, что служба, необходимо прислуживаться; никто не видит зла в крепостном праве; все считают, что русское, “национальное” нельзя ставить в параллель с европейским, все увлечены галломанией... Вот откуда происходит горе Чацкого, горе от ума его. Он чувствует всю трудность благородной борьбы с целым обществом, вечную борьбу “отцов и детей”. Душа его испытывает “миллион терзаний” из-за горячей любви к родине, которой он хочет, но не может помочь. Он не понимает, что его слова, его благородные порывы не могут остаться без плода в будущем».

В. Ильин писал:

«Но Чацкий и есть один из славной и благородной плеяды “дон-кихотов” русской литературы, где на первом месте стоит их центральное солнце — князь Мышкин (в “Идиоте” Достоевского) <...>. Ведь Чацкий, как и всякий подлинно одаренный и одухотворенный человек, был прост сердцем, как дитя, и очень наивен. Хорошо сказал Шопенгауэр: “Наивность так же подобает гению, как нагота — красоте”. Лишь только в последний момент пустил Чацкий в ход всю силу своего ума, чтобы разобраться окончательно в своем несчастье и разорвать сеть, которой он был опутан. Сердце мешало ему сделать это с самого начала. Эта сердечная простота и наивность главного героя “комедийного действия” помешала очень многим понять Чацкого как живого человека. С легкой руки бездарной и каменисердечной нашей “критики” в нем всегда видели ходячую гражданскую пропись и ментора обличительства... да еще “декабриста”, или кого-то или, вернее, “что-то” в этом роде. Словом, все что угодно, но только не живого человека <...>. Трагедия Чацкого — это сжатая в общей формуле трагедия всякого мессианства, начиная с Того, Кто посылает в мир “мудрецов и пророков”, и кончая самими этими “мудрецами и пророками”».

Грибоедов оставлял героя на распутье, когда, оборвав все привычные человеческие связи, он собирается в путь. Куда? Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» утверждает:

«Чацкий — это совершенно особый тип нашей русской Европы, это тип милый, восторженный, страдающий, взывающий и к России, и к почве, а между тем все-таки уехавший опять в Европу, когда надо было сыскать “Где оскорбленному есть чувству уголок”, — одним словом, тип, совершенно бесполезный теперь и бывший полезным когда-то».

Такая точка зрения находит подтверждение и в тех героях классической русской литературы, в которых подчеркнуто психологическое родство с Чацким, — как правило, это честные и душевно чистые неудачники. Таков и Жадов («Доходное место» Островского), и Рудин (в одноименном романе Тургенева), и Райский («Обрыв» Гончарова), и Версилов («Подросток» Достоевского), и Чацкий у Щедрина (в «Господах Молчалиных»). Дворянская революционность, переживавшая в деятельности декабристских обществ свой пик, в новых поколениях уже не могла рождать героического типа Чацкого. На смену ему пришли новые люди. И все же обвинение Достоевского («за границу бежать хочет»), в сущности, несправедливо. «Горе от ума» было создано Грибоедовым до трагедии 14 декабря 1825 года, оно предвещало столкновение Чацкого с фамусовским миром, но вовсе не предопределяло исторического поражения героя. Смысл последнего монолога Чацкого и всей комедии в целом не в том, что герой повержен, а в том, что он наконец осознал свою противоположность фамусовскому миру и порвал с ним: «Довольно!.. с вами я горжусь своим разрывом».